

Александр Кабанов

Речводоканал

Карантинная лирика

* * *

Как живётся вам, младшие братья, бояре? —
я теперь на чужбине в ничейной стране:
ем куриные ноги в таинственном кляре
и куриные крылья понравились мне.

Если взять безнадёжное тело кредита
и со шкуркой обрезать проценты с конца...
...выдвигали на царство, как антисемита,
чтоб ловил мертвецов на себя, на живца.

Я вдыхал обезжиренный ветер, послушный
парусине, стрекозам, кузнечным мехам,
путь мой капельный, шлях мой прямой и воздушный,
наступает пора возвращаться к стихам.

Что расскажет родное моё пепелище,
кипарисовой рощи бумажный завод,
бьётся в тесной духовке духовная пища,
я вернулся, продолжим молчание, вот:

Колокольные птицы по-прежнему звонки,
скачут в белых халатах сквозь пламя и дым —
одногрудые сёстры мои, амазонки,
к погибающим братьям, боярам моим.

Кабанов Александр Михайлович — поэт. Родился в 1968 году в Херсоне (Украина). Окончил журфак Киевского университета. Пишет на русском языке. Автор двенадцати книг стихотворений. Главный редактор журнала о современной культуре «ШО», координатор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры». Лауреат «Русской премии», Международной Волошинской премии, премии «Antologia» и др. Живет в Киеве.

* * *

Когда я был один большой народ
и дочерей по осени рожал —
через огромный чёрно-красный рот,
где каждый зуб — олива и кинжал.

Наматывал года на коленвал,
струей бензина рисовал овал,
и я твое молчанье понимал,
молился, но молчанье понимал.

И я освоил речводоканал,
когда приходит морводоканал,
и этот мор — я тоже понимал
и речь свою, как челюсть вынимал.

А дочери, старея, подросли,
как водоросли под водой земли,
одну сосватал пушкин под сабли,
другую выкрал и убил брюс ли.

Останься, утро, день, не вечерей,
теперь не важно: ямб или хорей,
когда в итоге — триста дочерей,
вернее, триста тысяч дочерей.

Пишите в личку, обменять готов
их на рабов, собак или котов,
вот эльм святой зажёт свои огни,
да будут с вами счастливы они.

* * *

Зачем природе круглый стол и стулья
квадратные, зачем зиме углы
сгоревших дней, остались только улья
и снег, неотличимый от золы.

Две детские кровати перед входом,
но пчеломатка пролезает в щель:
перекурить и проблеваться мёдом,
и вдаль смотреть на сонный буковель.

Сквозь дырочку из латексной резины
и я познал советское кино,
мне пел кобзон, меня несли грузины,
меня избили в белом кимоно.

Там балерин обрюзгшие хинкали
внезапно превращались в лебедей
не потому, что мы страну просрали,
а потому, что бог любил людей.

Гудит пчела, не много и не мало
осталось нас для круглого стола,
и в каждом — жизнь, зазубренное жало,
а смерть — поцеловала и прошла.

2 мая

Был майский день, сгущались облака,
привоз гудел к дождю или к пожару,
одной рукой готовя шашлыки,
другой рукой поглаживая сару.

На куликовом поле из кулька —
рассыпаны, как семечки, вороны,
был майский день, сгущались облака
и оперялись ангелы и дроны.

Жил человек — бесценный минерал,
хрустальный гриб, который ляжет в кузов,
но в этот день никто не умирал,
все вышли из роддома профсоюзов.

И далее, пошли наверняка —
в театры, в рестораны, в магазины,
счастливые, не зная языка
и под ногой не чуя украины.

Они молчали, как молчал бы я,
сменяя память на каменоломню,
вот помню: расстрелял парубия,
а кем он был, помилуй бог, не помню.

* * *

Я на кухню зашёл напоить растение,
а какое — не помню, прости, ну что ж:
у ножей весеннее обострение,
вилки в шахматах, ложки и вправду — ложь.

И пора приготовить себя к грядущему,
ко всему, что сжигает сей мир дотла,
к сладко жрущему, лгущему, горько пьющему,
в пустоту звенящему из стекла.

Разучившись любить, а такое надо ли,
если дети, как гречка, ушли в разнос,
перелётные птицы текли и падали,
словно чёрные капли с твоих волос.

Облака опустевшими бензобаками
прогремели, и звёздная даль видна,
навсегда подружились коты с собаками
и ушли на восток — это их война.

А на кухне поёт молодое, спелое,
необъятное, будто чужая боль,
это, мать его, красное или же белое...
...неожиданно вспомнил: желтофиоль!

* * *

Опять тарелки перестали биться
на счастье против страшного суда,
и я бродил, как вечный кикабидзе,
под песню голова моя седа.

Как жаль, что мой стаканчик одноразов,
как правильно, что женщина — чиста:
под мышками — невыбранный некрасов,
кудрявый пушкин — ниже живота.

О том, что больше нечего бояться —
кирпичный снег молился за стеной
и в бакалеях раздавали яйца —
стальные, перед новой войной.

Я помню днепр, впадающий в элладу,
и всех живых от перемены мест,
но александр блок воскрес в блокаду
и нёс перед собой съедобный крест.

Вот петушок из жжённой карамели,
вот мужики нажрались в бастурму,
а вдовы шли и яйцами звенели
в пасхальную рождественскую тьму.

Опять враги друг друга окружают,
я прорываюсь в свой подземный штаб:
там мужики солдатских вдов рожают,
и вдов не отличить от прочих баб.

* * *

Я встал и посмотрел вверх голов,
вверх стихов и прочего буфета:
а там — ни съесть, ни выпить — гумилёв,
и весь пейзаж от тютчева до фета.

Ты взвешен и прочитан на скаку,
не счесть аптек под фонарями блока,
и ходасевич, словно боль в боку,
цветаева — на горле водостока.

Мышь проскользнула, зарываясь в сыр,
беременная мышья войны и мира,
и мандельштам, как сидоров-кассир,
присел на край вселенского сортира.

Я знаю всех, кто воду пил с весла,
закусывая много или мало,
и среди вершин гора моя росла,
а это мышья моя её рожала.

* * *

Я побеждал чумой холеру,
и с чёрной оспой мне везло,
и, возвращаясь на галеру,
я обнимал своё весло.

Когда в имперской и в парчовой
тьме, обнуляющей овал,
я принял рабство пугачёвой
и ей колени целовал.

Как много нас осталось мало,
и штиль впадал в девятый вал:
когда моё весло дышало
тем воздухом, что я дышал.

Я грёб людей неутомимо
и что-то заводное пел,
и жаль, что мимо смерти, мимо —
наш астероид пролетел.